

ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНИГИ ЛИТАГЕНТСТВА ФТМ

КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ЮРИЙ ТЫНАНОВ

1894-1943

ЛЕГЕНДАРНЫЕ КНИГИ ЛИТАГЕНТСТВА ФТМ

Юрий Тынянов

Смерть Вазир-Мухтара

ФТМ

УДК 82/821-821.161.1

ББК 84-4

Т93

Тынянов, Ю.

Т93 Смерть Вазир-Мухтара / Ю. Тынянов. - М. : Т8RUGRAM / Агентство ФТМ. - 634 с. - (Легендарные книги литагентства ФТМ).

ISBN 978-5-519-61351-4

Роман «Смерть Вазир-Мухтара» известного российского писателя, драматурга и литературоведа Юрия Николаевича Тынянова по достоинству считается одним из лучших исторических романов советского времени и рассказывает о последнем годе жизни талантливого драматурга, автора русской классической пьесы «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова. Сразу по окончании русско-персидской войны в 1828 году Грибоедов становится полномочным министром России в Персии. Стойкость и целеустремленность, отстаивание государственных интересов в конце концов приводят к заранее предопределенной трагедии.

litagent.ru

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

УДК 82/821-821.161.1

ББК 84-4

BIC FC

BISAC FIC000000

© Т8RUGRAM, 2018

© ООО «Агентство ФТМ, Лтд.»,
2018

© Текст. А. Адамович,
наследники, 2018

ISBN 978-5-519-61351-4

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!

Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

Евгений Баратынский

На очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось; раздался хруст костей у Михайловского манежа — восставшие бежали по телам товарищей — это пытали время, был «большой застенок» (так говорили в эпоху Петра).

Лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами щек, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга.

Тогда начали мерить числом и мерой, судить порхающих отцов; отцы были осуждены на казнь и бесславную жизнь.

Случайный путешественник-француз, пораженный устройством русского механизма, писал о нем: «империя каталогов», и добавлял: «блестящих».

Отцы пригнулись, дети зашевелились, отцы стали

бояться детей, уважать их, стали заискивать. У них были по ночам угрызения, тяжелые всхлипы. Они называли это «совестью» и «воспоминанием».

И были пустоты.

За пустотами мало кто разглядел, что кровь отлила от порхающих, как шпага ломких, отцов, что кровь века переместилась.

Дети были моложе отцов всего на два, на три года. Руками рабов и завоеванных пленных, суетясь, дорожась (но не прыгая), они завинтили пустой Бенкендорфов механизм и пустили винт фабрикой и заводом. В тридцатых годах запахло Америкой, ост-индским дымом.

Дуло два ветра: на восток и на запад, и оба несли с собою: соль и смерть отцам и деньги — детям.

Чем была политика для отцов?

«Что такое тайное общество? Мы ходили в Париже к девчонкам, здесь пойдем на *Медведя*» — так говорил декабрист Лунин.

Он не был легкомыслен, он дразнил потом Николая из Сибири письмами и проектами, написанными издевательски ясным почерком; тростью он дразнил медведя — он был легок.

Бунт и женщины были сладострастием стихов и даже слов обыденного разговора. Отсюда же шла и смерть, от бунта и женщин.

Людей, умиравших раньше своего века, смерть застигала внезапно, как любовь, как дождь.

«Он схватил за руку испуганного доктора и просил действительно помощи, громко требуя и крича на него:

“Да понимаешь ли, мой друг, что я жить хочу, жить хочу!”

Так умирал Ермолов, законсервированный Николаем в банку полководец двадцатых годов.

И врач, сдавленный его рукой, упал в обморок.

Они узнавали друг друга потом в толпе тридцатых годов, люди двадцатых, — у них был такой «масонский знак», взгляд такой и в особенности усмешка, которой другие не понимали. Усмешка была почти детская.

Кругом они слышали другие слова, они всеми силами бились над таким словом, как «камер-юнкер» или «аренда», и тоже их не понимали. Они жизнью расплачивались иногда за незнакомство со словарем своих детей и младших братьев. Легко умирать за «девчонок» или за «тайное общество», за «камер-юнкера» лечь тяжелее.

Людям двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их.

У них было в тридцатых годах верное чутье, когда человеку умереть. Они, как псы, выбирали для смерти угол поудобнее. И уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы.

Что дружба? Что любовь?

Дружбу они обронили где-то в предыдущем десятилетии, и от нее осталась только привычка писать письма да ходатайствовать за виноватых друзей — кстати, тогда виноватых было много. Они писали друг другу длинные сентиментальные письма и обманывали друг друга, как раньше обманывали женщин.

Над женщинами в двадцатых годах шутили и вовсе

не делали тайн из любви. Иногда только дрались или умирали с таким видом, как будто говорили: «Завтра побывать у Истоминой». Был такой термин у эпохи: «сердца раны». Кстати, он вовсе не препятствовал бракам по расчету.

В тридцатых годах поэты стали писать глупым красавицам. У женщин появились пышные подвязки. Разврат с девчонками двадцатых годов оказался добросовестным и ребяческим, тайные общества показались «сотней прапорщиков».

Благо было тем, кто псами лег в двадцатые годы, молодыми и гордыми псами, со звонкими рыжими собаками!

Как страшна была жизнь *превращаемых*, жизнь тех из двадцатых годов, у которых перемещалась кровь!

Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнут.

Время бродило.

Всегда в крови бродит время, у каждого периода есть свой вид брожения.

Было в двадцатых годах винное брожение — Пушкин.

Грибоедов был укусным брожением.

А там — с Лермонтова идет по слову и крови гнилостное брожение, как звон гитары.

Запах самых тонких духов закрепляется на разложении, на отбросе (амбра — отброс морского животного), и самый тонкий запах ближе всего к воню.

Вот — уже в наши дни поэты забыли даже о духах и продают самые отбросы за благоухание.

В этот день я отодвинул рукой запах духов и отбросов. Старый азиатский уксус лежит в моих венах, и кровь пробирается медленно, как бы сквозь пустоты разоренных империй.

Человек небольшого роста, желтый и чопорный, занимает мое воображение.

Он лежит неподвижно, глаза его блестят со сна.

Он протянул руку за очками, к столику.

Он не думает, не говорит.

Еще ничего не решено.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Шаруль бело из кана ла садык¹.

Грибоедов. Письмо к Булгарину

1

Еще ничего не было решено.

Он вытянулся на руках, подался корпусом вперед; от этого нос и губы у него вытянулись гусем.

Странное дело! На юношеской постели, как бы помимо его воли, вернулись разные привычки. Именно по утрам он так потягивался, прислушивался к отчету дому: встала ли маменька? язвит ли уже папеньку? По ошибке влетела догадка: не войдет ли сейчас дядя, опираясь на палку, будить его, ворошить на постели,

¹ Величайшее несчастье, когда нет истинного друга. Стих арабского поэта иль-Мутанаббия (915–965). Источник указан академиком И. Ю. Крачковским.

звать с собою по гостям.

Чего он хлопотал с этой своей палкой?

И он воровато прикрыл ресницы, слегка шмыгнув носом под одеялом.

Конечно, тотчас же опомнился.

Протянул желтую руку к столику, пристроил на носочки.

Он спал прекрасно: ему хорошо спалось только на новом месте. Отчий дом оказался сегодня новым местом, он превосходно провел ночь, как на покойном постоялом дворе, зато поутру как бы угорел от тайного запаха, которым недаром полны отчие дома.

Алексей Федорович Грибоедов, дядя с палкой, умер пять лет назад. Его и зарыли здесь, на Москве.

Войти он, стало быть, не мог.

Скончался в свое время и папенька.

Но все же раздавались отчие звуки.

Часы перекликались из комнаты в комнату, как петуши, через деревянные стены. У мамы в будуаре маятник всегда ходил как бешеный.

Затем шваркающий звук, и кто-то плевал.

Значение звука он долго не мог определить.

Потом затаенный смех (несомненно, женский), шварканье приостановлено и наконец с новой силой вновь началось. Кто-то вполголоса зашикал из дверей, трюхнул жидкий, дрянненький колокольчик — это, безо всякого сомнения, из маменькина будуара. И стало понятно значение шварканья и плеванья, а также смеха: Александр чистил его сапоги, плевал и толкал под бок маменькину девку.